

А. Седой (Ал. П. Чехов)

ОСТРОВ ЦЕЙЛОН

Николай Валерьянович Разжогин, богач и чайный монополист, застрял на весь Покров в одном симпатичном северном имении. Казалось, всего лишь на праздники заехал, а вышло, что от скуки неделю никак с места ему не сняться. Влип как муха в морошковый сироп... Уже и от Таточкиных романсов почти оглох, и мастеров на сукне не различает, и беседами о всяческом пресыщен.

Сегодня опять совершил велосипедную прогулку. Доехал до далекой деревни, чтобы поглядеть, как раздетые девки выполаскивают холстины в заводи мелкой Чупятки. Вернулся под самый конец обеда и услыхал финал разговора. В столовую входить раздумал. Калашников, чье имя и отчество не было никакой возможности запомнить, приехал в гости позавчера с самого утра, прикупив в чупятских верховых фабрику. Не тараторил азартно, как обычно, а будто устал и изрекал вальяжно:

— Да что там, господа... Говорят, что правда в конце концов восторжествует, но это неправда. Пойдем от обратного, скажем, остров он и есть остров, как его ни обходи. Лучше взять не этот постный Каневец, а Цейлон в океане, господа. Кругом кокосы. Тоже вполне округлый плод. Барышни черные, как ночь. Овальные, знаете ли. Хоть у Николая Валерьяновича спросите, когда вернется. Чай цейлонский наиотменнейших свойств! И отчего же? В мешках, коробах, кулях и цыбиках, и весь — наиславнейшее цейлонское вещество, оборачивающееся реальными доходами. Хоть и в жестяночках английских, а всё одно цейлонский.

Тата, ставшая год назад после смерти тетушки хозяйкой ухоженного именья, обратилась к гостям:

— Вот и хорошо, что остров. Милости прошу всех на веранду. Но цейлонских кокосов, не обессудьте, не предложу. Может, Николай Валерьянович в следующий раз привезет из далеких чуждых стран. «Черт-те что! — Разжогин чуть не сплюнул, — да не мог быть этот червяк на Цейлоне! Чушь какую-то несет!»

Он так и остался в аванзале, представил, как гости задвигали стульями, как тяжело встали и проследовали за медлительной Татой на веранду. До него будто донесся шорох ее многих юбок. Пряный звук, отметил он. Ему показалось, что он почти слышит этот запах. Морской, чуть острый, такой, наверно, устричный... Даже потянул ноздрями. Раковина со скользким перлом эта Тата. В высоких окнах серое небо выталкивало из себя бледную луну. У самого дома в переросших сиренях, взявшихечно мокрый луг в скобу, чуть шевелились воробы. Словно еще одна листва. Для них наступала ночь. Только самые крайние пытались влезть в середку. «Совершенно бессмысленное дело», — подумал о птицах Разжогин.

— Отчего вы так, Николай Валерьянович? Что тут бессмысленного? Ничего бессмысленного на свете не бывает-с! Как Таточка на вас поглядывает, вздыхает. Корсаж трещит. А? Полагаете бессмысленно, без причин? — Калашников будто услышал его мысли. Он всегда возникал незаметно, будто подслушивал. «Ростовщик губернский», — процедил в сторону Разжогин. Он вспомнил, что вчера вечером Тата жаловалась, что из-за новых плотин на калашниковской фабрике Чупятка мелеет, а зимой промерзает так, что передохли почти все пескари.

Разжогин всегда удивлялся этому трепачу. И как он в своем банке проценты по закладным считает Калашников продолжил: — А я, знаете, как кружева вижу, всегда, признаюсь вам по секрету, волнуюсь... Особенно на белье, на панталонах, так сразу ящериц вспоминаю. Будто чешуя. Красота вроде бы, а на самом деле всё у них для защиты. У дам-с. От нашего брата оборону держат. Редут! А вы, кстати, Николай Валерьянович, скажите-ка на милость, видали зеленые кружева? — Не встречал.

Калашникова было не унять. — Да я тоже зеленых не припоминаю... Не мне советы вам давать, конечно, Николай Валерьянович, идеалы и память блести благородно, но стоит и о себе подумать, о дочках. Разве дело — девочки пансионерки третий год. Неужто, вы думаете, что Таточка их не полюбит? Я честно вам скажу, как друг, мы ведь друзья-с, так сказать. У меня такое чувство, что вы вдовство ваше, извините за высокий штиль, просто-таки пестуете. И Калашников воскликнул торжествуя, будто он первым изобрел слово:

— Пестуете-пестуете-пестуете. Да! Таки пестуете!

Разжогин не мог оборвать его, так как позабыл его имя-отчество. Он брезгливо переспросил: — Пестуете? Так изволили умозаключить? Пестую, значит, пестом? Калашников закивал. Удачливый банкир из купцов, скупающий теперь всё подряд, имеющий про всё определенное мнение и вот подбирающийся к Таточкиным выпасам на речке Чупятке, стушевался, будто не он затеял разговор. Разжогину показалось, что он похож на ящерицу, о которой только что говорил; сходствен своими мутными, точно засоленными белками глазок в белесых ресницах. Еще и нафиксатуренные усы не по размеру к мелкому лицу походили на руль его английского велосипеда.

Вздернутый нос был едва намечен. Разжогин раздражался: — Вот что я вам отвечу, хотя и не знаю, надо ли об этом говорить. Вам особенно. Но чувствую, что надо. Только давайте- ка покойнее расположимся. Калашников метнулся в буфетную, будто уже сто лет жил в этом доме, мгновенно вернулся с полуштофом и мальцевски- ми стопками. Стопки держал, растопырив короткие пальцы в перстнях. Он будто извинялся:

— Сидор еще лимона не порезал. Без лимона? Как вы, ежели начать без лимона? Или все-таки Сидора кликнуть? Разжогин заметил, как тот круглил рот. Они поднялись в библиотеку. Взираясь, Калашников топырил локти, как плавники.

Разжогин сел перед ним так, чтобы больше смотреть в окно, чем на банкира. Будто свою историю он расскажет меланхоличной белесой луне, выпучившейся на него из смутных сумерек. — Начну с железной дороги, с дороги. Такой очерк вам дорожный для памяти. Вы ведь дальше Варшавы, кажется, и не ездили, а изволите высказываться с чьих-то слов о Цейлоне. Так вот: там колея в половину нашей, так как англичане бревен на шпалы жалеют. Там бревна кокосовые. Усвойте, милостивый государь, что в два раза уже. Нет, что шпалы... И Разжогин неожиданно для самого себя продолжил совсем о другом:

— Самое чудное для меня в океане всегда штиль. Когда к Коломбо корабль подходит. Как по стеклу идет. Чтобы вы из первых уст узнали, что такое штиль. Разжогин нервничал. Говорил резко, коротко. Видел, как тот, нагнувшись, пыхтит, притыкая стопки и полуштоф на паркете возле ножки своего стула. Торопится разлить. Ему тоже передалась нервозность Разжогина.

— Как вы, Николай Валерьевич, ежели без лимона? — Да я ваших лимонов с кокосами... — Разжогин не договорил. Они выпили по полной стопке. Тата настаивала водку на чем-то местном, вязком, дегтярный вкус долго не отпускал рта, а Разжогин этого не любил. Она, впрочем, так же и целовалась, долго ворочая языком, не отлипая губами, полагая, что это «по-французски». Уставившись за окно, в смутную большую луну, он сказал, будто перебивал дегтярный привкус:

— Смотрю я на нее порой. Милая Тата, добрая, хорошего воспитанья, цвет серый ей к лицу. А иной раз гляну ей в светлые чухонские очи, да и подумаю, что под корсажем у нее жабры. И вместо кружев на панталонах — чешуя зеленая. Он слышал, как Калашников завозился вблизи него. Заскрипел стулом. Разжогин продолжил:

— В общем штиль полнейший. Штиль, зарубите! Когда подходишь к Коломбо, а я уж раз семь там бывал, так полный штиль всегда. Послушайте, вы можете не скрипеть? Или стул подите поменяйте! Да хоть на пол сядьте, черт вас дери, банкир- гвадалквири. Море такое ровное, небесного цвета, с зеленцой, как свежая полусотенная ассигнация. Представили? И иной раз, словно ножом кто эту гладь с изнанки вспорет: это акулий плавник, дельфинов там нет, они к гавани не подплывают. Дельфин — млекопитающее открытых морей, вам этого не понять! В банке не живет. Он захотел обдумать сказанное, но луна, не обозначающая в этих краях ночи, язвила его слабым светом, словно одухотворяла, обычно сдержанного в откровениях.

— Так вот, такой покой, когда на палубе стоишь, что тело свое чувствуешь как никогда, а вернее, оно тебя всего само чует, душу обволакивает, выталкивает ее кверху; и словно ты этот самый плавник акулий в чуждой среде, где и не вздохнуть, а жить без этого чувства невозможно. Мне кажется: море и я — больше никого. Там в порту коляски хорошие, сделанные по-английски, рессорные, тоже мягко везут, не расплещут, возница чистый, не то, что наши, не смердит. Я сразу на вокзал еду, благо недалеко совсем. Багажа никакого не беру. Вовсе! Там легкость нужна! Только с одним портмоне, налегке. И

— на север, если там, на Цейлоне это слово уместно. В Джрафну и потом в Кенкесантурай тамильский. Запомнили? Часов семь-восемь сквозь джунгли поезд идет, пальмы и лианы окна приоткрытые лижут. А из Джрафны, под парусом к островам Веланаа. И про кокосы с лимонами извольте послушать. Они выпили еще по стопке. Он выдохнул, продолжил:

— Коль уж Тата была бы на самом деле умницей, водку на цедре настаивала бы, а не на этом упырнике гнилом. Будто не ты водку пьешь, а водка тебя. Как пиявка во рту! А, вам еще про кокосы рассказать? Разжогин положил руку на причинное место, слегка похлопал: — В штанах у меня кокосы, в штанах! Почти грохочут, пока в поезде еду, в тихом теле только они и стучат; громче сердца. Вагон качает, это из-за узкой колеи, но мне даже нравится, словно кто меня уже наперед ласкает. А меня-то в отличие от вас будут, будут, ой как будут нежить. Ладошками темными, губами сухими, язычками шершавыми, как кошки, а не банкнотами вашими вонючими. Всем селом, деревенькой тамильской. Они, когда наслажденье от меня имеют, пташками щебечут. Всю ночь без перерыва. Пташками. Не то, что Тата, она как исходит, то словно в бутыль свистит и сразу в слезы. Или вдруг захочет, будто в холодную Чупятку лезет. А те — в очередь стоят ко мне. Друг друга мусолят за женские штуки, ля-ля-ля поют, заметьте, чтобы лучшим образом подготовиться.

Он возвел руки как протоиерей на проповеди:

— И там я свое одиночество, деля с ними подстилки из сухой травы, умножу донельзя, вознесу до черных небес, хоть барышень сотня за ночь сменится. Они простодушные, упыр-ник в водку не суют, знаете ли. Жабр у них под корсажем нет, я это доподлинно знаю, так как ходят предо мной голые, без тряпиц. Нагие! Как душа перед Господом в раю. Без чешуи. И как зовут их — не помню и помнить не надо. Еще и про пестование замечу. Они таким пестом эбеновым с кокосовым маслом, когда совсем устану, сзади балуют.

Он показал ошелевшему банкиру примерную величину песта. Калашников одеревенел.

Вплотную придвинувшись, Разжогин вкрадчиво спросил, он и сам порой удивлялся быстрой смене своих настроений:

— Надеюсь, сударь, вы именно такового свойства пест в виду имели?

Разжогин взял в руку на три четверти опорожненный полуштоф. Сжал горлышко, словно хотел придушить, как гуся. Оттолкнул стопки носком туфли в дальний угол, к самым шкафам и послушал, как они покатились. Да, мальцевское стекло прочное. Несколько раз — сначала слабо, потом сильней и наконец мощно он, метя в небольшой нос над развесистыми усами, обрушил на Калашникова полуштоф. На третий раз толстое граненое стекло разлетелось брызгами.

— Да за что? А? Ну, за что-с? Ну, простите! Великодушно простите! — выл, размазывая кровь, Калашников.

Не оборачиваясь, Разжогин спустился по лестнице, распахнул двери и сошел на мокрый луг. Под ногами громко чавкнуло, сквозь этот непристойный звук он разобрал грудной голос Таты: — Ау, милый Николай Валерьянович, ну ау же, где ж вы запропали, уж и самовар простишь, вам чай в библиотеке сервировать? Или лучше в музыкальной? А Пиония Епимахиевича, господина Калашникова вы не повстречали часом? Как он волшебно прозывается, вот телеграмма ему, удивительное дело — прямо из Коломбо. Значит, Пионий Епимахиевич! Ну, чудеса! Дивный, знаете ли, вы чай привезли цейлонский давеча...

— А я, милая Таточка, пожалуй, воздержусь, уж и ночь вовсю, а значит, для пузыря нехорошо; не велите ж мне в вашу спальню свою ночную вазу прихватить, неловко несколько. Футы нуты, фу-ты нуты, чаи наши цейлонские, — сказал Разжогин, глядя в лицо низкой луне, которая не смущаясь взирала на него.

Из сиреневых кустов к нему вышла черная собака — было похоже, будто она в калошах.

— А вот что я замечу тебе, животина, — с удивлением для самого себя, опустившись на корточки, сказал Разжогин, — самолюбие и самомнение у нас европейские, а поступки азиатские. Псина заскулила в ответ.